

Глава III.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЭВОЛЮЦИИ.

ЭПОХА ПЕРВАЯ.

РАЗДЕЛЕНИЕ

ТРУДА

- Вступление
- § I. Антагонистические эффекты принципа разделения
- § II. Бессилие полумер. - Г-да Бланки, Шевалье, Дюнойе, Росси и Пасси

Вступление

Фундаментальная идея, доминантная категория политической экономии — это СТОИМОСТЬ.

Стоимость приходит к своему положительному определению через серию колебаний между спросом и предложением.

В итоге стоимость возникает последовательно по трем аспектам: полезная стоимость, обменная стоимость и синтетическая стоимость или социальная стоимость, которая является истинной стоимостью. Первое слагаемое противоречиво порождает второе; и оба вместе, поглощая друг друга взаимопроникновением, порождают третье: так что противоречие или антагонизм идей выступают в качестве отправной точки всей экономической науки, и что можно сказать о ней, пародируя слово Тертуллиана [150] о Евангелии, *credo quia absurdum* (верую, поскольку абсурдно): В экономике обществ существует скрытая истина, как только появляется явное противоречие, *credo quia contrarium* (потому что считаю наоборот).

С точки зрения политической экономии прогресс общества заключается в постоянном решении проблемы построения стоимостей, или пропорциональности и взаимосвязи продуктов.

Но, хотя в природе синтез противоположностей существует одновременно с их оппозицией, в обществе противоположные элементы, кажется, возникают через большие промежутки времени и разрешаются только после долгого и бурного перемешивания. Таким образом, у нас нет примера, у нас даже не возникает идеи существования долины без холма, лева без права, северного полюса без южного полюса, палки, которая имела бы только один конец, или двух концов без середины и т. д. Человеческое тело с его совершенно противоположной дихотомией сформировано как единое целое с самого момента зачатия; ему претит то, что оно составлено и упорядочено по частям, как платье, которое позже покрывает его, подражая ему [151].

В обществе, напротив, так же, как и в разуме, далеко от того, чтобы идея внезапно достигала своей полноты, и своего рода пропасть разделяет, так сказать, две противоречивые позиции, и что, даже будучи в конце концов признанными, еще не очевидно, что (из них) возникнет синтез. Нужно, чтобы примитивные понятия были, так сказать, оплодотворены шумными спорами и страстной борьбой; кровопролитные сражения станут предварительным условием мира. Сегодня Европа, уставшая от войн и полемики, ждет примирительного подхода; и именно смутное ощущение этой ситуации заставляет задуматься Академию гуманитарных и политических наук о том, *каковы общие факты, которые регулируют отношения прибыли с заработной платой и которые определяют их колебания*, иными словами, каковы наиболее заметные эпизоды и наиболее заметные этапы войны труда и капитала.

Поэтому, если я продемонстрирую, что политическая экономия со всеми ее противоречивыми гипотезами и двусмысленными выводами является не чем иным, как организацией привилегий и нищеты, я тем самым докажу, что она косвенно содержит обещание организации труда и равенства, поскольку, как мы уже говорили, любое систематическое противоречие — это объявление будущей композиции; более того, я буду закладывать основы этой композиции. Итак, наконец, разоблачить систему экономических противоречий — значит заложить основы всеобщего объединения; сказать, как продукты коллективного труда появились из общества — значит объяснить, как их можно будет вернуть туда; показать происхождение проблем производства и распределения — значит подготовить решение. Все эти предложения идентичны и одинаково очевидны.

§ I. Антагонистические эффекты принципа разделения

Все люди равны в первобытном сообществе, равны в своей наготе и невежестве, равны в неограниченной силе своих способностей. Экономисты обычно рассматривают только первый из этих аспектов: они пренебрегают или полностью игнорируют второй. Однако, по мнению глубочайших философов современности, Ла Рошфуко, Гельвеция, Канта, Фихте, Гегеля, Жакота, интеллект определяется в индивидуумах только *качественным* анализом, который представляет собой специализацию или способность каждого; в то время как в том, что существенно, а именно в суждении, он для всех равен *количественно*. Отсюда следует, что рано или поздно, в соответствии с обстоятельствами, которые были благоприятными, общий прогресс должен привести всех людей от первоначального и отрицательного равенства к положительной эквивалентности талантов и знаний.

Я настаиваю на этом исключительном факте психологии, необходимым следствием которого является то, что *иерархия способностей* отныне не может быть принята как принцип и закон организации: только равенство является нашим правилом, так же как и нашим идеалом. Так же, как мы это доказали теорией стоимости, как равенство нищеты должно постепенно превращаться в равенство благосостояния; аналогично равенство душ, отрицательное с самого начала, поскольку оно представляло собой лишь пустоту, должно возродиться положительно на последнем этапе образования человечества. Интеллектуальное движение осуществляется параллельно с экономическим: они являются выражением, переводом друг друга; психология и социальная экономика согласны, или, лучше сказать, они лишь развивают каждая с различных точек зрения одну и ту же историю. Это то, что проявляется в особенности в великом законе Смита, в *разделении труда*.

Рассматриваемое по своей сути разделение труда — это способ, с помощью которого реализуется равенство условий и интеллектов. Именно оно, благодаря разнообразию функций, предоставляет место для пропорциональности продуктов и баланса обменов, следовательно, оно открывает путь к богатству; кроме того, обнаруживая бесконечность повсюду в искусстве и природе, это оно ведет нас к идеализации всех наших действий и воссоздает творческий дух, то есть ту же божественность, *mentem diviniorem*, имманентную и чувствительную ко всем трудящимся.

Таким образом, разделение труда является первой фазой экономического развития так же, как интеллектуального прогресса: наша отправная точка верна и со стороны человека, и со

стороны вещей; и ход нашей демонстрации не имеет ничего произвольного.

Но в этот торжественный час разделения труда штормовой ветер начинает дуть над человечеством. Прогресс не достигается для всех одинаково и равномерно, хотя в конце он должен достичь и преобразовать всех разумных и трудолюбивых существ. Он начинает с захвата небольшого числа привилегированных, которые, таким образом, составляют элиту наций, в то время как масса сохраняется или даже погружается в варварство. Именно это разделение людей со стороны прогресса заставило так долго верить в естественное и predetermined неравенство условий, породившее касты, и иерархически составляло все общества. Мы не понимали, что любое неравенство всегда было не чем иным, как отрицанием, несущим в себе признак нелегитимности и предвестие его утраты: тем еще менее можно представить себе, что это самое неравенство возникло случайно по причине, чей последующий эффект должен был заставить его полностью исчезнуть.

Так же антиномия стоимости, воспроизводясь в законе разделения, обнаружила, что первый и самый мощный инструмент знания и богатства, который Провидение вложило нам в руки, это инструмент нищеты и слабоумия. Вот формула этого нового закона антагонизма, которому мы обязаны двумя древнейшими недугами цивилизации — аристократией и пролетариатом: *Труд подразделяется в соответствии с законом, который ему присущ и который является первым условием его плодотворности, ведет к отрицанию его целей и разрушает себя; иными словами, Разделение, за пределами которого точка прогресса, точка богатства, точка равенства подчиняет работника, делает разум бесполезным, богатство тлетворным и равенство невозможным.*

Все экономисты, начиная с А. Смита, указывали на *достоинства и недостатки* закона разделения, но настаивая более на первых, нежели на вторых, потому что это лучше служило их оптимизму, и без того, чтобы ни один из них не никогда не задумывался о том, какие могут быть *недостатки закона*. Вот как подытожил вопрос Ж.-Б. Сэй:

«Человек, который выполняет только одну операцию на протяжении всей своей жизни, безусловно, преуспевает в том, чтобы выполнять ее лучше и быстрее, чем другой человек, но в то же время он становится менее способным к любой другой деятельности, физической или духовной, другие его способности приглушены, что приводит к персональной деградации человека. Это печальное свидетельство того, что будет, если не делать ничего, кроме одной восемнадцатой части булавки: никто не представляет себе, что только рабочий, который всю свою жизнь двигает одним напильником или молотком, деградирует, который, таким образом, вырождается из достоинства своей натуры, это все еще тот человек, который в силу своего состояния использует самые несвязанные способности своего разума... В результате мы можем сказать, что разделение работ — это умелое использование человеческих сил; что это значительно увеличивает продукцию общества; но что это отнимает что-то от способностей каждого отдельного человека» (Договор полит. экон.).

Так что же, после самого труда, является основной причиной умножения богатства и квалификации работников? разделение. Какова основная причина упадка духа и, как мы будем постоянно доказывать, цивилизованной нищеты? Разделение.

Как тот же принцип, строго соблюдаемый по своим последствиям, приводит к диаметрально противоположным эффектам? ни один экономист, ни до, ни после А. Смита не осознавал, что есть проблема, которую нужно прояснить. Сэй доходит до признания, что при разделении труда та же самая причина, которая порождает добро, порождает и зло; затем, после нескольких слов соболезнования жертвам разделения отраслей, довольный, что сделал беспристрастный и верный доклад, он оставляет нас. «Вы узнаете, — как бы хочет сказать он, — что чем больше мы делим рабочую силу, тем больше мы увеличиваем производительную мощность труда; но в то же время, чем больше работа постепенно сводится к механизму, тем более затуманивает интеллект».

Напрасно кто-то возмущается теорией, которая, будучи созданная трудом через аристократию способностей, неизбежно ведет к политическому неравенству; напрасно возражает именем демократии и прогресса против того, что в будущем больше не будет ни дворянства, ни буржуазии, ни париев. Экономист отвечает с судьбоносной бесстрастностью: вы обречены на то, чтобы производить много и производить дешево; в противном случае ваше производство всегда будет жалким, ваша торговля — нулевой, и вы будете плестись в хвосте цивилизации, вместо того, чтобы идти во главе. — Что! среди нас, людей бескорыстных, predetermined глупости, и чем больше наше производство совершенствуется, тем больше становится число наших проклятых собратьев!... — Увы! Это последнее слово экономиста.

Нельзя игнорировать при разделении труда как общий факт, так и причины (возникновения) всех характеристик закона; но поскольку этот закон регулирует два вида радикально противоположных и взаимно разрушительных явлений, следует также признать, что этот закон относится к виду, неизвестному в точных науках; что это, как ни странно, противоречивый закон, *противозаконность*, антиномия. Добавим в качестве предубеждения, что это, по-видимому, является характерной чертой всей экономики обществ, начиная с философии.

Однако если не произойдет ПЕРЕУСТРОЙСТВО труда, которое стирает недостатки разделения, сохраняя при этом его полезные последствия, противоречие, присущее принципу, остается без своего разрешения. Нужно, по слову иудейских священников, готовящих смерть Христа, чтобы бедняк погиб во имя сохранения состояния богатого, *expedit unum hominem pro populo mori* [152]. Я продемонстрирую необходимость этого решения; после чего, если у рабочего на участке останется проблеск интеллекта, он утешит себя мыслью, что он умрет в соответствии с правилами политической экономии.

Труд, который должен был породить рост сознания и сделать его все более и более заслуживающим счастья, принося частичным разделением ослабление духа, отделяет человека от самой благородной части его самого, *minorat capitis* [153], и отбрасывает его к животному состоянию. С этого момента опустившийся человек работает грубо, поэтому с ним нужно обращаться грубо. Общество исполнит это решение природы и необходимости.

Первым эффектом разделения труда после разложения души является продление сеансов (труда), которые растут обратно пропорционально количеству потраченного интеллекта. Поскольку продукт оценивается одновременно с точки зрения количества и качества, то

если в результате какого-либо промышленного развития работа ослабевает в одном направлении, следует ожидать компенсации в другом. Но поскольку продолжительность сеансов не может превышать шестнадцать-восемнадцать часов в сутки, с момента, когда компенсация не может быть произведена в течение определенного времени, она будет получена с цены, и зарплата уменьшится. И это снижение будет происходить не так смехотворно, как это можно себе представить, потому что стоимость по сути произвольна, а потому что она по сути определима. Не важно, что борьба между спросом и предложением заканчивается, иногда в пользу хозяина, иногда в пользу работника; такие же колебания могут колебать амплитуду в соответствии с общеизвестными дополнительными обстоятельствами, которые были оценены тысячу раз. Что несомненно, и что нам следует отметить, — это то, что универсальное сознание оценивает неодинаково работу бригадира и выходку грубияна. Следовательно, возникает необходимость снизить плату за рабочий день: чтобы работник, будучи душевно пораженным своей унижительной функцией, не мог не быть поражен и телесно скромностью вознаграждения. Это буквальное применение слова Евангелия: *У того, кто владеет малым, я заберу и то малое.*

В экономических происшествиях есть неумолимая причина, которая насмехается над религией и справедливостью как над политическими афоризмами и которая делает человека счастливым или несчастным, в зависимости от того, подчиняется он или уклоняется от предписаний судьбы. По общему признанию, мы далеки от этой христианской добродетели, которой вдохновляются многие уважаемые писатели, и которая стремится, проникая в сердце буржуазии, благодаря множеству институтов, умерить строгости закона. Политической экономии известна только справедливость, справедливость негибкая и крепкая, как кошелек скупого; и только потому, что политическая экономия является следствием социальной спонтанности и выражением божественной воли, я смог сказать, что Бог оппонирует человеку, а Провидение избирательно. Бог заставляет нас оплачивать силой крови и мерой наших слез каждый наш урок; и, что еще хуже, в наших отношениях с другими людьми мы поступаем так же. Где эта любовь небесного отца к его созданиям? где человеческое братство?

Может ли быть иначе? спрашивают теисты. Человек опускается, животное остается: как Творец узнает в нем свой образ? И что может быть проще, чем обращаться с ним как с диким существом? Но испытание не всегда будет длиться, и рано или поздно труд, после того, как конкретизируется, станет синтезированным. Это обычный аргумент всех тех, которые ищут оправданий для Провидения и которым чаще всего удается только готовить для атеизма новое оружие. Это все равно, что сказать, что Бог в течение шести тысяч лет завидовал идее, — которая могла бы спасти миллионы жертв, — распределения одновременно как специального, так и синтезированного труда! С другой стороны, он подарил нам через своих пророков Моисея, Будду, Зороастра, Мухаммеда и т. д. эти безвкусные ритуалы, угнетающие наш разум и заставившие погубить больше людей, чем они содержат букв! Более того, если верить первобытному откровению, социальная экономика была бы этой проклятой наукой, этим плодом дерева, сохраняемым для Бога, к которому человеку было запрещено прикасаться! Для чего это религиозное порицание труда, если оно истинно, поскольку экономическая наука уже обнаруживает его, что труд является отцом любви и органом счастья? для чего эта ревность нашего продвижения? Но если, как кажется сейчас достаточно, наш прогресс зависит только от нас самих, какая

польза от поклонения этому призраку божественности, и чего он все еще хочет от нас с этой толпой вдохновенных, которые преследуют нас своими проповедями? Все вы, христиане, протестанты и православные, неосвященные, шарлатаны и обманщики, слушайте первый стих гуманитарного гимна о милосердии Бога: «Поскольку принцип разделения труда получает полное применение, рабочий становится более слабым, более ограниченным и более зависимым! Искусство прогрессирует, ремесло регрессирует!» (Токвиль, О демократии в Америке).

Поэтому давайте будем осторожны в том, чтобы предвидеть наши выводы и предрешать последнее откровение опыта. Бог, что касается текущего момента, кажется нам менее предпочтительным, чем его противоположность: ограничимся констатацией факта.

Подобно тому, как политическая экономия в своей отправной точке заставила нас услышать это таинственное и мрачное слово:

С ростом производства полезности уменьшается продаваемость ; точно так же, по прибытии на свою первую остановку она предупреждает нас страшным голосом: Когда искусство прогрессирует, ремесло регрессирует.

Чтобы лучше обозначить идеи, приведем несколько примеров. Кто в металлургической промышленности наименее трудолюбивые работники? те, которых точно называют механиками. С момента, как инструменты стали настолько превосходно усовершенствованными, механик — лишь человек, который знает, как нанести мазок известью или предложить деталь для рубанка: что касается механики, то это дело инженеров и бригадиров. Управляющий компании иногда объединяет, по необходимости, различные таланты — слесаря, портного, оружейника, механика, рулевого, ветеринара: в приличном обществе будут удивлены наукой, происходящей из-под молотка этого человека, которому люди, насмехаясь, дают прозвище *железной горелки*. Рабочий из Крезе, который в течение десяти лет наблюдал все, что его профессия может предложить наиболее грандиозного и завершенного из своего цеха,— не более, чем существо, не способное оказывать какие-либо услуги и зарабатывать на жизнь. Непригодность этого субъекта является прямым результатом совершенствования искусства (производства); и это верно для всех производств, подобных металлургии.

Зарплата механиков до сих пор поддерживалась на высоком уровне: неизбежно, что она однажды упадет, потому что низкое качество работы не в состоянии ее поддерживать.

Я только что привел пример из металлургии, давайте посмотрим на легкую промышленность.

Могли ли себе представить Гуттемберг [154] и его трудолюбивые спутники Фёрст и Шеффер, что благодаря разделению труда их возвышенное изобретение попадет в область невежества, я почти сказал идиотизма? Мало кто обладает таким слабым интеллектом, столь мало *начитаны*, как масса рабочих, прикрепленных к различным направлениям полиграфической промышленности, — наборщики, печатники, плавильщики, переплетчики и бумажники. Типограф, которого еще можно было встретить во времена Этьенна, стал

почти абстракцией. Использование женщин в наборном цехе поразило эту благородную индустрию в самое сердце и унизило ее. Я видел *наборщицу*, и это была одна из лучших, которая не умела читать, а буквы знала только по номерам. Все искусство воплотилось в специальностях корректоров, скромных ученых, которых до сих пор унижает грубость авторов и их покровителей, и некоторых рабочих, настоящих художниках. Одним словом, пресса, попавшая в механизм, уже не находится, в отношении персонала этого механизма, на цивилизованном уровне: вскоре она останется лишь памятником.

Я слышал, что работники типографий в Париже объединились в ассоциации, чтобы уберечься от лишений: пусть их усилия не будут исчерпаны тщетным эмпиризмом или утеряны в бесплодных утопиях!

После примеров из частного предпринимательства посмотрим на административный слой.

В государственных службах эффект разделенного труда не менее пугающий, не менее интенсивный: везде, в сфере управления, по мере развития дела основная масса работников видит, что их зарплата снижается. — Почтальон получает от 400 до 600 франков годового оклада, из которого администрация удерживает около десятой доли на пенсию. После тридцати лет работы пенсия, а точнее реституция, составляет 300 франков в год, которые, будучи переданными хоспису их владельцем, дают ему право на постель, суп и стирку. Мое сердце истекает кровью от того, что я скажу, но я нахожу, что государственная администрация еще щедра: каким вы хотите, чтобы было вознаграждение человека, вся функция которого состоит в ходьбе? Легенда сообщает о пяти су для странствующего еврея; почтальоны получают двадцать или тридцать; это правда, что большинство из них имеют семьи. Часть службы, для которой требуется использование интеллекта, предназначена для директоров и коммивояжеров: им лучше платят, они выполняют человеческую работу.

Таким образом, повсеместно в сфере общественных услуг, как и в легкой промышленности, все устроено так, что девять десятых работников служат бременем для одной десятой: это неизбежный эффект промышленного прогресса и необходимое условие всего богатства. Важно знать об этой элементарной истине, прежде чем говорить людям о равенстве, свободе, демократических институтах и других утопиях, реализация которых предполагает полную революцию в отношениях работников.

Самый примечательный эффект разделения труда — вырождение литературы.

В средние века и в древности просвещенный человек, своего рода энциклопедист, преемник трубадура и поэта, знал все, мог все. Литература с высоко поднятой рукой правила обществом; короли искали благосклонности писателей или мстили за их презрение, сжигая их самих и их книги. Это был еще один способ признания литературного суверенитета.

Сегодня мы промышленники, юристы, врачи, банкиры, торговцы, преподаватели, инженеры, библиотекари и т. д.; мы больше не просвещенные люди. Точнее, тот, кто достиг чего-то примечательного в своей профессии, тем самым будет единственным, кто необходимо грамотен: чтение литературы, как и степень бакалавра, стала элементарной частью любой

профессии. Литератор в чистом виде является *публичным писателем*, своего рода коммивояжером писательства по всеобщему ручательству, чья самая распространенная вариация — журналист.

Четыре года назад в палатах (парламента) родилась странная идея — создать закон о литературной собственности! как будто значение идеи не стремилось стать всем, а стиль — ничем. Слава Богу, это делается с помощью парламентского красноречия, как эпическая поэзия и мифология; театр лишь изредка привлекает деловых людей и ученых; и в то время как ценители удивляются упадку искусства, философ-наблюдатель видит в нем только прогресс в духе мужественного разума, более раздраженный, чем восхищенный этими сложными безделушками. Интерес к роману поддерживается лишь настолько, насколько он приближается к реальности; история сводится к антропологическому толкованию; наконец, повсюду искусство говорить хорошо становится второстепенной вспомогательной идеи, факта. Культ слова, слишком кустистого и слишком медлительного для нетерпеливых умов, игнорируется, и его ухищрения теряют привлекательность день ото дня. Язык девятнадцатого века состоит из фактов и цифр, и это наиболее примечательно для нас, которые, используя наименьшее количество слов, могут выразить большинство вещей. Тот, кто не знает, как говорить на этом языке, немилосердно низведен к риторам; о нем говорят, что у него нет идей.

В зарождающемся обществе прогресс языка обязательно предшествует философскому и индустриальному прогрессу и долгое время служит обоим. Но наступает день, когда мысль выходит за рамки языка, или, как следствие, превосходство, сохраняемое в литературе, становится для общества явным признаком упадка. Язык, на самом деле, является для каждого народа собранием его родных идей, энциклопедией, которую ему впервые открывает Провидение; это поле, которое его разум должен вспахивать, прежде чем атаковать природу непосредственно наблюдением и опытом.

Теперь, как только нация, исчерпав науку, содержащуюся в ее словаре, вместо того, чтобы продолжать свое образование с высшей философией, заворачивается в свой поэтический покров и начинает играть своими периодами и полустиями, можно смело заявить, что такое общество потеряно. Все в нем станет мелким, жалким и ложным; у него даже не будет преимущества сохранения в его великолепии этого языка, который оно безумно любило; вместо того, чтобы идти по пути гениев перехода, Тацита, Фукидида, Макиавелли и Монтескье, мы увидим его падшим в неодолимой стремнине, от величия Цицерона до тонкостей Сенеки, к антитезам святого Августина и каламбурам святого Бернара.

Пусть не возникает иллюзий: с того момента, когда ум, сначала будучи полностью внутри речи, переходит в опыт и труд, собственно литератор — не что иное, как ничтожная персонификация наименьшей из наших способностей; а литература, будучи отходом интеллектуальной деятельности, находит отдачу только среди бездельников, которых она развлекает, и пролетариев, которых она очаровывает, жонглеров, которые осаждают власть, и шарлатанов, которые защищаются с ее помощью, иерофантов (жрецов) божественного закона, которые истолковывают голос Синая, и фанатиков суверенитета народа, — которые, будучи его слабыми представителями, стремятся лишь к тому, чтобы испытать свои ораторские способности с высоты трибун на гробницах и заставить его

плакать, — способных лишь изобразить пародии на Гракха и Демосфена.

Поэтому общество во всех своих полномочиях соглашается на неопределенное время ухудшать положение работника отдельного участка; и опыт, повсеместно подтверждающий теорию, доказывает, что этот работник обречен на несчастье еще со времени нахождения в чреве своей матери, и что в отсутствие какой-либо политической реформы, какого-либо объединения интересов ни общественная благотворительность, ни образование не помогут ему. Различные особенности, представленные в последнее время, далеко не в состоянии излечить эту рану, и скорее углубят ее, раздражая ее; и все, что было написано на сей счет, лишь выдвинуло на первый план порочный круг политической экономии.

Это то, что мы продемонстрируем в нескольких словах.

§ II. Бессилие полумер. - Г-да Бланки, Шевалье, Дюнойе, Росси и Пасси

Все средства защиты, предлагаемые против фатальных последствий разделения труда, сводятся к двум, второе стоит первого, первое — обратно второму: поднять дух работника за счет повышения его благосостояния и чувства собственного достоинства; — или же готовить его эмансипацию и счастье издавна посредством образования.

Мы будем последовательно изучать эти две системы, одну из которых представляет г-н Бланки, а другую — г-н Шевалье.

Господин Бланки — человек объединения и прогресса, писатель с демократическими тенденциями, профессор, приветствуемый симпатиями пролетариата. В своей вступительной речи за 1845-й год г-н Бланки объявил в качестве средства спасения объединение труда и капитала, участие рабочего в прибыли, то есть начало промышленной солидарности. «Наш век, — воскликнул он, — должен увидеть рождение коллективного производителя». — Г-н Бланки забывает, что коллективный производитель родился давно, так же как и коллективный потребитель, и что это вопрос уже не генетический, а медицинский. Речь идет о том, чтобы кровь, поступающая от коллективного пищеварения, вместо того, чтобы нести себя в голову, живот и грудь, опускается также в ноги и руки. Более того, я не знаю, какие средства предлагает использовать г-н Бланки для реализации своей отважной мысли; будь то создание национальных мастерских, или государственное спонсорство, или экспроприация предпринимателей и их замена компаниями рабочих, или, наконец, если он просто порекомендует работникам сберегательную кассу, и в этом случае участие может быть отложено до греческих календ [155].

Как бы то ни было, идея г-на Бланки решается путем увеличения оклада, получаемого из звания соучастника или, по крайней мере, со-интересанта, которое он присуждает работникам. Как тогда будет выглядеть участие этого работника в прибыли?

Вращение 15 000 шпинделей, на котором занято 300 рабочих, в текущем году принесет 20 000 фр. прибыли. Я допускаю, что ткацкие фабрики промышленника Мюлхауза в Эльзасе производят по стоимости, как правило, ниже номинальной, и что эта отрасль — уже не способ зарабатывать деньги *трудом*, но *превышением* (стоимости). ПРОДАВАТЬ, продавать в нужное время, продавать по высокой цене — в этом весь смысл; производство является лишь средством подготовки продажи. Поэтому, когда я предполагаю, в среднем, прибыль 20 000 фр. на цех из 300 человек, в соответствии с моим общим аргументом, то я и считаю

справедливой суммой в 20 000 фр. В любом случае давайте примем эту цифру. Разделив 20 000 фр., прибыль фабрики, на 300 человек и 300 рабочих дней, я нахожу для каждого дополнительный остаток в 22 и 2 тысячных сантимов, или для ежедневных расходов — дополнительные 18 с., ровно кусок хлеба. Стоит ли экспроприировать предпринимателей и играть общественным достоянием, чтобы воздвигать конструкции тем более хрупкие, что собственность окажется раздробленной на бесконечно малые акции и не будет более поддерживаться прибылью, у компаний кончится балласт, и они больше не будут застрахованы от бурь? И если не идет речь об экспроприации, какая плохая перспектива — ничего лучше не найти, чтобы представить рабочему классу, как увеличение на 18 сантимов в качестве результата нескольких столетий сбережений; поскольку ему потребуется не меньше, чем столько времени, чтобы сколотить свой капитал — с учетом, что периодическая безработица не заставляет его периодически съедать свои сбережения!

Факт, о котором я только что сообщил, был подтвержден несколькими способами. Г-н Пасси [156] лично подсчитал в реестрах прядильной фабрики в Нормандии, где рабочие были ассоциированы с предпринимателем, заработную плату нескольких семей за десять лет; и он нашел среднее вознаграждение в пределах от 12 [157] до 1 400 фр. в год. Затем он захотел сравнить ситуацию с работниками прядильного производства, чей труд оплачивается, исходя из их положения как участников предприятия, с вознаграждением работников, которые находятся просто на зарплате, и он нашел, что различия практически не заметны. Этот результат было легко предсказать. Экономические явления подчиняются абстрактным и бесстрастным законам, подобным числам: только привилегии, мошенничество и произвол нарушают бессмертную гармонию.

Кажется, раскаявшийся г-н Бланки, сделавший этот первый шаг к социалистическим идеям, поспешил отказаться от своих слов. На том же заседании, где г-н Пасси продемонстрировал несовершенство акционерного общества, он воскликнул: «Разве не кажется, что работа является чем-то восприимчивым к организации, и что от государства зависит регулирование счастьем человечества, подобно командованию военным парадом, со всей математической точностью? Это плохая тенденция, иллюзия, что Академия не может бороться слишком много, потому что это не только химера, но и опасный софизм. Давайте уважать добрые и верные намерения; но давайте не будем бояться сказать, что издать книгу *об организации труда* — это в пятидесятый раз повторить трактат о возведении в квадрат круга или философский камень».

Затем, увлеченный своим рвением, г-н Бланки заканчивает рушить теорию участия, которую г-н Пасси уже так сильно поколебал, на следующем примере: «Г-н Дейли, один из самых просвещенных фермеров, создал учетную запись за каждый участок земли и счет за каждый товар; и он обнаруживает, что в течение тридцати лет один и тот же человек никогда не получал одинаковые урожаи на одном и том же пространстве земли. Продукты (их продажи) варьировались от 26 000 фр. до 9 000 или 7 000 фр., иногда они даже снижались до 300 фр. Есть даже определенные продукты, например картофель, (цена продаж) которых может упасть раз в девять. Как тогда, при таких различиях, с такими неопределенными доходами, установить регулярные распределения и равномерную заработную плату для рабочих?... [158]

Можно было бы ответить, что вариации (стоимостей) продукта на каждом участке земли

просто указывают на то, что необходимо связать владельцев между собой, после того, как рабочие были связаны с владельцами, что установило бы более глубокую общность интересов: но это было бы предreshением того, что является точно под вопросом, и что г-н Бланки, по размышлении, находит определенно невозможным, — организация труда. Более того, очевидно, что солидарность интереса не внесет свою лепту в общее богатство — с учетом, что она даже не затрагивает проблему разделения.

В общем, столь завидная и зачастую весьма проблематичная прибыль хозяев далека от покрытия разницы между фактической и требуемой заработной платой; и старый проект г-на Бланки, ничтожный по своим результатам и отвергнутый его автором, стал бы бедствием для обрабатывающей промышленности. Теперь, когда разделение труда отныне устанавливается повсеместно, рассуждения обобщаются, и мы приходим к выводу, что *нищета является следствием труда*, как в той же степени и безделья.

Говорят, что и этот аргумент пользуется огромной популярностью у людей: удорожать услуги, удваивать, утраивать зарплату. Я признаю, что если бы это увеличение было возможно, это было бы полным успехом, независимо от того, что сказал г-н Шевалье, обращаясь к которому я должен внести небольшие коррективы по этому вопросу.

По словам г-на Шевалье, если бы цена какого-либо товара была увеличена, цены на другие товары увеличились бы в той же пропорции, и никто бы не получил никакой выгоды.

Эти рассуждения, которые экономисты используют уже более столетия, столь же ложны, сколь и стары, и г-ну Шевалье, как инженеру, принадлежит честь выравнивания экономической традиции. Жалованье шефа бюро (офис-менеджера) составляет 10 франков в день, а зарплата работника — 4: если доход каждого увеличить на 5 франков, то соотношение состояний, которое в первом случае будет как 100 к 40, во втором — не больше 100 к 60. Следовательно, повышение заработной платы, происходящее необходимо от простого дополнения (увеличения), а не от коэффициента, было бы отличным средством выравнивания; и экономисты заслуживают того, чтобы социалисты их упрекали в невежестве, которым они одарены вдоль и поперек.

Но я говорю, что такой рост невозможен, и что это предположение абсурдно: поскольку, как очень ясно заметил г-н Шевалье, цифра, указывающая цену рабочего дня, является всего лишь алгебраическим показателем, не имеющим отношения к реальности; и что прежде всего следует знать при попытке исправления неравенства распределения, — это не денежное выражение, а количество продуктов. До того любое повышение заработной платы не может иметь никакого другого эффекта, кроме подорожания пшеницы, вина, мяса, сахара, мыла, угля и т. д. — под влиянием их недостатка. Потому как — что такое зарплата? Это себестоимость пшеницы, вина, мяса, угля; это интегрирующая цена всех вещей. Давайте пойдем еще дальше: заработная плата — это пропорциональность элементов, которые составляют богатство и которые ежедневно репродуктивно потребляются массой рабочих. То есть удвоение зарплаты в том смысле, в котором ее понимают люди, — это приписывание каждому производителю большей доли, чем он произвел, что противоречиво; и если увеличение касается только небольшого числа отраслей, это должно вызвать общее нарушение в торговле, одним словом, нехватку. Боже, упаси меня от предсказаний! но, несмотря на все мое сочувствие к улучшению положения рабочего класса, это невозможно,

я заявляю, чтобы забастовки, сопровождаемые ростом заработной платы, не приводили бы к общему росту цен: это точно, как дважды два — четыре. Не с помощью таких рецептов рабочие придут к богатству и, что в тысячу раз дороже, чем богатство, — к свободе. Рабочие, поддерживаемые благосклонностью безрассудной прессы, требуя повышения заработной платы, служили монополии гораздо больше, чем своим реальным интересам: смогут ли они признать, когда трудности станут для них еще более мучительными, горький плод своей неопытности!

Будучи убежденным в бесполезности или, точнее, в пагубных последствиях повышения заработной платы, и понимая, что вопрос является полностью органическим и ни в коем случае не коммерческим, г-н Шевалье принимает проблему задом наперед, он просит для рабочего класса, прежде всего, просвещение, и он предлагает широкие реформы в этом смысле.

Просвещение! это также слово г-на Араго, обращенное к рабочим, это принцип всего прогресса. Просвещение!... Мы должны усвоить это раз и навсегда про все, что мы можем услышать о решении рассматриваемой проблемы; нужно усвоить, говорю я, не потому, что желательно, чтобы все это получали, в чем нет сомнений, но если это возможно.

Чтобы полностью понять весь смысл взглядов г-на Шевалье, важно знать его тактику.

Г-н Шевалье, долгое время формировавшийся в дисциплине, сначала благодаря своим политехническим занятиям, затем благодаря своим сен-симонским отношениям [159], и, наконец, благодаря своему университетскому положению, похоже, не признает, что у студента может быть другая воля, нежели установленная правилами, сектант с другой мыслью, чем у своего вождя, государственный чиновник с другим мнением, чем у власти. Этот способ восприятия порядка может быть столь же респектабельным, как и любой другой, и я не намерен высказывать одобрение или порицание по этому вопросу. Должен ли г-н Шевалье выносить личное суждение? В силу принципа, что все, что не защищено законом, разрешено, он спешит взять на себя инициативу и высказать свое мнение, оставив возможность, если необходимо, присоединиться затем к мнению власти. Вот как г-н Шевалье, прежде чем осесть в конституционном кругу, отдал себя г-ну Энфантину; именно так он объяснялся по разным темам, о железных дорогах, финансах, собственности задолго до того, как министерство (правительство) приняло какую-либо систему строительства железных дорог, пересчета арендной платы, патентов на изобретения, литературную собственность и т. д.

Поэтому г-н Шевалье далеко не слепой поклонник университетского образования; и до дальнейшего уведомления он без колебаний говорит, что думает. Его мнения самые радикальные.

В своем отчете г-н Вильмен сказал: «Цель среднего образования состоит в том, чтобы заранее подготовить выбор мужчин на все должности, которые они будут занимать, и где они будут служить, в администрации, магистратуре, адвокатской конторе и в различных свободных профессиях, в том числе на старших званиях и научных специальностях военно-морского флота и армии».

«Среднее образование, — замечает далее г-н Шевалье [160], — также призвано готовить людей, одни из которых будут фермерами, другие производителями, эти — торговцами, те — свободными инженерами. Однако в программе все эти люди забыты. Упущение чрезмерное; потому что, в конце концов, промышленный труд в его различных формах, сельское хозяйство, торговля, это для государства — не аксессуар, не случайность: это принцип... Если Университет хочет оправдать свое название, он должен принять сторону в этом смысле, иначе он увидит себя стоящим лицом к лицу с *промышленным университетом* ... Это будет алтарь против алтаря и т. д.».

И как характеристика сверкающей идеи и прояснения всех вопросов, связанных с ней, профессиональное образование дает г-ну Шевалье очень быстрое средство для разрешения ссоры между духовенством и Университетом со свободным образованием.

«Надо признать, что духовенство заслуживает уважения, позволяя латинице служить основой для обучения. Духовенство знает латынь так же хорошо, как и Университет; это его собственный язык. Более того, его образование стоит недорого; поэтому невозможно, чтобы он не привлекал к себе большую часть молодежи в свои небольшие семинарии и в своих полноценные образовательные учреждения...».

Вывод только один: измените предмет обучения, и вы декатолизуете королевство; а поскольку духовенство знает только латынь и Библию, и в его лоне нет ни мастеров искусств, ни фермеров, ни бухгалтеров; среди его сорока тысяч священников, возможно, нет двадцати, способных составить план или выковать гвоздь, мы скоро увидим, кому отцы семейств будут отдавать предпочтение — промышленности или молитвеннику, если они не считают, что труд — лучший язык для молитвы Богу.

Так окончилось это нелепое противопоставление религиозного образования и светской науки, духовного и мирского, разума и веры, алтаря и престола, старых заголовков, лишенных смысла, но которыми развлекают публику до тех пор, пока она не разозлится.

Более того, г-н Шевалье не настаивает на этом решении: он знает, что религия и монархия являются двумя партнерами, которые, хотя и всегда противоречат друг другу, не могут существовать друг без друга; и, чтобы не вызывать подозрений, он бросается через другую революционную идею — равенство.

«Франция может предоставить политехнической школе в двадцать раз больше студентов, чем сегодня (в среднем 176— 3520). Университет только мечтает об этом... Если бы мое мнение чего-то стоило, я бы сказал, что математические способности *гораздо менее особенные*, чем принято считать. Я вспоминаю тот успех, с которым дети, взятые, так сказать, наугад на тротуаре Парижа, следуют учению Мартинера по методу капитана Табаре».

Если бы в среднем образовании, реформированном в соответствии с мнением г-на Шевалье, приняли участие все молодые французы, с учетом, что обычное число мест составляет всего 90 000 человек, не было бы преувеличения в том, чтобы поднять число математических специальностей от 3 520 до 10 000; но по той же причине у нас будет 10 000 художников, филологов и философов; 10 000 врачей, физиков, химиков и натуралистов; —10 000

экономистов, юристов, администраторов; — 20 000 промышленников, мастеров, торговцев и бухгалтеров; — 40 000 фермеров, виноградарей, шахтеров и т. д.; всего 100 000 производственных специальностей в год или около трети молодежи. Остальные, вместо специальных навыков, получают только смешанные навыки, повсеместно оцениваемые с равнодушием.

Уверен, что столь мощный рост интеллекта ускорит движение к равенству, и я не сомневаюсь, что таково и есть тайное желание г-на Шевалье. Но вот что меня беспокоит: недостатка в специальностях не бывает, не больше, чем у населения, и вопрос в том, чтобы найти работу для одного и хлеб для другого. Напрасно г-н Шевалье говорит нам: «Среднее образование дало бы меньше возможностей для жалобы о том, что оно вызывает в обществе поток амбициозных людей, лишенных всех средств удовлетворения своих желаний и заинтересованных в потрясении государства; людей, для которых нет применения, но верящих в свою пригодность ко всему, особенно к управлению общественными делами. Научные занятия менее возбуждают разум. Они просвещают и регулируют его одновременно; они готовят человека к практической жизни ...». — Этот язык, я отвечу ему, хорош для патриархов: профессор политической экономии должен больше уважать свою кафедру и свою аудиторию. У правительства есть не более ста двадцати мест, доступных ежегодно для ста семидесяти шести политехников, допущенных в школу: каким, следовательно, будет препятствие, если число поступлений будет десять тысяч, или только, если принять цифру г-на Шевалье, три тысячи пятьсот? И обобщите: общее количество гражданских должностей составляет шестьдесят тысяч или три тысячи ежегодных вакансий; какой ужас для власти, если, внезапно приняв реформистские идеи г-на Шевалье, она окажется в осаде пятидесяти тысяч просителей! Следующее возражение часто выдвигалось республиканцам без ответа с их стороны: когда у каждого будет удостоверение избирателя, станут ли депутаты лучше, а пролетариат — более продвинутым? Я обращаюсь к г-ну Шевалье с тем же вопросом: когда каждый учебный год принесет вам сто тысяч специалистов, что вы будете делать? Чтобы устроить эту интересную молодежь, вы опуститесь до последней ступени иерархии. Вы заставите молодого человека, после пятнадцати лет возвышенного обучения, дебютировать не так, как сегодня, со звания начинающего инженера, суб-лейтенанта артиллерии, прапорщика, заместителя, контролера, охранника и т. д.; но с неблагоприятной работы начинающего поездного кочегара, тральщика, юнги, вязальщика хвороста и погребной крысы. Там ему придется ждать смерти, освобождая ряды, пока его не пнут каблуком. Поэтому может случиться так, что человек, окончивший политехническую школу и способный стать Вобаном [161], умирает дорожником второго класса или капралом в полку. О! какое благоразумие демонстрировал католицизм, и как он превзошел всех вас, сен-симонийцев, республиканцев, ученых, экономистов, в познании человека и общества! Священник знает, что наша жизнь — лишь путешествие, и что совершенство не может быть реализовано здесь, внизу; и он довольствуется набросками образования на земле, которое найдет свое завершение на небе. Человек, которого сформировала религия, довольный возможностью знать, делать и получать то, что будет достаточным для реализации его земной судьбы, никогда не станет проблемой для правительства: он скорее станет мучеником. О, любимая религия! должна ли буржуазия, которая так нуждается в тебе, игнорировать тебя!... В какие ужасные битвы гордости и нищеты бросает нас эта мания всеобщего образования! Какая польза от профессионального образования, что хорошего в сельскохозяйственных школах и школах коммерции, если у ваших учащихся нет ни распределения, ни капитала? И какая

необходимость в том, чтобы набивать себя до двадцатилетнего возраста всевозможными науками, чтобы после того пойти прикреплять нити к мул-дженни [162] или долбить уголь на дне шахты? Что! по вашему признанию, вы ежегодно можете предложить только 3 000 рабочих мест в год на 50 000 вероятных специальностей, и вы все еще говорите о создании школ! Оставайтесь лучше в своей системе исключений и привилегий, системе старой, как мир, поддержки династий и патрициев, настоящей машине для выхолащивания людей, чтобы обеспечить удовольствия касты султанов. Заставьте платить дорого за ваши уроки, умножьте препятствия, заставьте ждать на время экзаменов сына пролетария, которому не позволяет ждать голод, и защитите что есть силы церковные школы, где учатся работать для другой жизни — смиряться, поститься, уважать великих, любить царя и молиться Богу. Потому что любая бесполезная учеба рано или поздно превращается в прекращенную учебу: наука — яд для рабов.

Конечно, г-н Шевалье слишком прозорлив, чтобы не понять последствий своей идеи. Но он сказал себе от всего сердца, и можно только приветствовать его доброе намерение: прежде всего, люди должны быть людьми: потом поживем — увидим.

Таким образом, мы движемся к приключению, ведомые Провидением, которое никогда не предупреждает нас, кроме как внезапно поражая: это начало и конец политической экономики.

В отличие от г-на Шевалье, профессора политической экономики в Коллеж де Франс, г-н Дюнойе, экономист Института, не желает организации обучения. Организация обучения — это разновидность организации труда: следовательно, не нужна организация. Обучение, отмечает г-н Дюнойе, — это профессия, а не магистратура: как и все профессии, она должна быть и оставаться бесплатной. Это сообщество, это социализм, это революционная тенденция, главными агентами которой были Робеспьер, Наполеон, Людовик XVIII и г-н Гизо [163], которые вбросили среди нас эти роковые идеи централизации и поглощения любой активности государством. Пресса совершенно свободна, а перо журналистов — товар; религия также очень свободна, и любой носитель рясы, короткой или длинной, который знает, как вызвать общественное любопытство, может собрать вокруг себя аудиторию. У г-на Лакордара есть свои последователи, у г-на Леру — его апостолы, у г-на Бучеза — его монастырь. Почему же тогда образование не может быть бесплатным? Если право учащегося, который по сути является вариацией покупателя, несомненно; право преподавателя, который является всего лишь разновидностью продавца, является относительным: невозможно прикоснуться к свободе образования, не применяя насилие к самой драгоценной из свобод, а именно к совести. И затем, добавляет г-н Дюнойе, если государство обязано всем дать образование, то вскоре появится претензия на то, что оно должно дать работу, потом жилье, потом еду... К чему это приведет?

Аргументация г-на Дюнойе неопровержима: организация (бесплатного) образования означает предоставление каждому гражданину либерального обещания занятости и комфортной зарплаты; эти два термина так же тесно связаны, как артериальное и венозное кровообращение. Но теория г-на Дюнойе также подразумевает, что прогресс справедлив только для определенной элиты человечества и что для девяти десятых человечества пребывание в варварском состоянии является постоянным условием. Это то, что составляет, по словам г-на Дюнойе, сущность обществ, которая проявляется в трех этапах: религия,

иерархия и попрошайничество. Так что в этой системе, которая является системой Дестюта де Трейси, Монтескье и Платона, антимония разделения, как и стоимости, неразрешима.

Признаюсь, мне невыразимо приятно видеть г-на Шевалье, сторонника централизации образования, побежденным г-ном Дюнойе, сторонником свободы; г-н Дюнойе, в свою очередь, находится в оппозиции к г-ну Гизо; г-н Гизо, представитель централизаторов, находится в противоречии с соглашением, которое в принципе представляет свободу; соглашение растоптано учеными, которые претендуют на привилегию обучения, несмотря на формальный порядок, описанный в Евангелии, в котором сказано священникам: *идите и учите*; и прежде всего это столкновение экономистов, законодателей, министров, академиков, профессоров и священников, экономическое провидение опровергает Евангелие, восклицая: что вы хотите, педагоги, чтобы я сделало для вашего образования?

Кто избавит нас от этой тревоги? Г-н Росси склоняется к эклектизму: будучи слишком мало разделенным, по его словам, труд остается непродуктивным; слишком разделенным он изматывает человека. Мудрость находится между этими крайностями: *in medio virtus* (в середине силы). — К сожалению, эта разделенная мудрость — лишь обыденность нищеты, добавленная к обыденности богатства, так что это условие ничего не меняет в мире. Соотношение добра и зла, вместо того, чтобы быть равным 100 на 100, составляет только 50 на 50: это может однажды установить меру эклектики для всех. Более того, золотая середина г-на Росси находится в прямой оппозиции великому экономическому закону: Производить при минимально возможных затратах максимальное возможное количество ценностей... Тогда как труд может выполнить свое предназначение, без категорического разделения? Давайте посмотрим дальше, пожалуйста.

«Все системы, — говорит Росси, — все экономические гипотезы принадлежат экономисту; но человеку разумному, свободному, ответственному, находящемуся под властью морального закона... Политическая экономия — лишь наука, которая исследует отношения вещей и делает выводы. Она изучает результаты труда: вы должны использовать труд в соответствии с важностью цели. Когда использование труда, наоборот, имеет более высокую цель, нежели производство богатства, он не должен использоваться... Предположим, в качестве средства пополнения национального благосостояния, использование детского труда по пятнадцать часов в день: мораль сказала бы, что это недопустимо. Это доказывает, что политическая экономия является ложной? Нет: это доказывает, что вы нашли то, что должно быть разделено».

Если бы у г-на Росси было немного больше этой галльской наивности, столь трудно доступной для иностранцев, он просто *выбросил бы свой язык собакам*, как говорит мадам де Севинье. Но необходимо, чтобы профессор говорил, говорил, говорил, не для того, чтобы сказать что-то, но чтобы не молчать. Господин Росси крутится вокруг вопроса по три раза, потом успокаивается: некоторым этого достаточно, чтобы поверить, что он ответил.

Следует признать, что это уже печальный симптом для науки, поскольку, развиваясь в соответствии со своими собственными принципами, она приходит как раз вовремя, чтобы противоречить другой; как, например, когда постулаты политической экономии противоречат постулатам морали, я полагаю, что мораль, как и политическая экономия, является наукой. Что такое человеческое знание, если все его утверждения разрушают друг

друга, и чему мы должны доверять? Разделенный труд — это рабское занятие, но это единственное действительно плодотворное занятие; неразделенный труд принадлежит только свободному человеку; но это не окупается. С одной стороны, политическая экономия говорит нам — будьте богатыми; с другой стороны, мораль — будьте свободными; и г-н Росси, выступая от имени обеих, одновременно предупреждает нас о том, что мы не можем быть ни свободными, ни богатыми, поскольку существовать только наполовину — значит не существовать вовсе. *Доктрина* г-на Росси, далекая от того, чтобы удовлетворять этому двойному устремлению человечества, имеет, следовательно, недостаток, а не исключительность, в том, чтобы отнимать у нас все: в другой форме это история представительной системы.

Но антагонизм гораздо глубже, чем увидел г-н Росси. Поскольку, в соответствии с общепринятым опытом достижения согласия по этому вопросу с теорией, заработная плата уменьшается из-за разделения труда, ясно, что, подчиняясь частичному рабству, мы не получим богатства; мы лишь превратили людей в машины: взгляните на работающее население двух миров. А поскольку, с другой стороны, за пределами разделения труда общество возвращается к варварству, все еще очевидно, что, пожертвовав богатством, нельзя достичь свободы: посмотрите на кочевые племена в Азии и Африке. Следовательно, существует необходимость, абсолютное повеление со стороны экономики и со стороны морали, — разрешить проблему разделения: и где сейчас экономисты?

Уже более тридцати лет назад, как Лемонти, развивая наблюдение Смита, выявил деморализующее и убийственное влияние разделения труда: кто ему ответил? какое исследование было сделано? какие комбинации предложены? вопрос был только понят?

Каждый год экономисты с точностью отчитываются, — что я бы приветствовал, если бы не видел бесплодность этого, — о коммерческом движении государств Европы. Они знают, сколько метров ткани, кусочков шелка, килограммов железа было произведено; каково было потребление на душу населения пшеницы, вина, сахара, мяса: говорят, что для них *nec plus ultra* (предел) науки состоит в публикации инвентарных перечней, и конечная цель их объединения в том, чтобы стать всеобщими контролерами наций. Никогда ранее так много собранных материалов не предоставляло такой перспективы для исследований: что было обнаружено? какой новый принцип возник из этой массы? к какому решению стольких старых проблем привело? какое новое направление для изучения (возникло)?

Один из вопросов, похоже, был подготовлен для окончательного решения: это пауперизм. На сегодняшний день из всех несчастий цивилизованного мира пауперизм наименее изучен: мы примерно знаем, откуда он, когда и как он наступает, и чего стоит: мы рассчитали, в какой пропорции он находится к различным показателям цивилизации, и в то же время было достигнуто убеждение, что все возможности, с помощью которых его пытались победить, оказались бессильны. Пауперизм был разделен на роды, виды и вариации: это полная естественная история, одна из важнейших отраслей антропологии. Ну и! что неопровержимо вытекает из всех собранных фактов, но то, что мы не увидели, чего мы не хотим видеть, что экономисты настойчиво скрывают своим молчанием, так это то, что пауперизм является узаконенным и хроническим в обществах, пока сохраняется антагонизм труда и капитала, и что этот антагонизм может закончиться только абсолютным отрицанием политической экономии. Какой выход из этого лабиринта обнаружили

экономисты?

Этот последний момент заслуживает того, чтобы остановиться на нем на мгновение.

В примитивном сообществе, как я указывал в предыдущем параграфе, нищета является универсальным условием.

Труд — это война, объявленная этой нищете.

Труд организован, сначала разделением, затем внедрением машин, затем конкуренцией и т. д., и т. д.

Теперь вопрос состоит в том, чтобы знать, не является ли это сущностью этой организации, такой, какой она дана нам в политической экономии — одновременно с тем, как она прекращает нищету одних, она усугубляет ее для других роковым и неодолимым образом. Вот в каких выражениях должен быть задан вопрос о пауперизме, и именно так мы решили найти на него ответ.

Что означают эти вечные сплетни экономистов о нечестности рабочих, их лени, недостатке достоинства, невежестве, разврате, преждевременных браках и т. п.? Все эти пороки, вся эта подлость — всего лишь покрывало пауперизма; но причина, основная причина, которая роковым образом удерживает четыре пятых человеческой расы в унижении, где она? Разве природа не сделала всех людей одинаково грубыми, сопротивляющимися работе, распутными и дикими? разве патриций и пролетарий не вышли из одного ила? Почему же тогда, после стольких веков и несмотря на столько чудес промышленности, науки и искусства, благосостояние и вежливость не могли стать достоянием всех? Как случилось, что в Париже и Лондоне, в центрах общественного благосостояния, нищета столь же отвратительна, как во времена Цезаря и Агриколы? Как случилось, что кроме этой утонченной аристократии, основная масса осталась такой невоспитанной? Указывают на пороки народа: но пороки высших классов не кажутся меньшими, возможно даже они большие. Первоначальная задача для всех одинакова: почему еще раз, крещение цивилизации не дало одинакового эффекта для всех? Разве это не означает, что сам прогресс является привилегией, и что человеку, у которого нет ни колесницы, ни коня, предназначено вечно блуждать в грязи? Что я говорю? для полностью обездоленного человека желание спастись не реализуемо: он упал настолько низко, что даже амбиции погасли в его сердце.

«Из всех личных добродетелей, — как разумно замечает г-н Дюнойе, — самая необходимая — та, которая последовательно предоставляет для нас и все остальное, — это страсть к благополучию, это неистовое желание избавиться от страданий и унижений, именно это соперничество и это достоинство, одновременно, не позволяют ему быть удовлетворенным этой худшей ситуацией...

...Но это чувство, которое кажется таким естественным, к сожалению, гораздо менее распространено, чем можно подумать. Есть некоторые упреки — в том, что очень большая общность людей заслуживает меньшего, чем имеют, — которые им адресуют аскетически настроенные моралисты за то, что они слишком легко относятся к своему достатку: их будут

упрекать в обратном... Есть даже в природе людей очень примечательная характеристика — что чем меньше у них знаний и средств, тем меньше они испытывают желание их приобрести. Самыми презренными и наименее просвещенными дикарями являются именно те, кому труднее всего удовлетворять потребности, те, кому с трудом внушают желание выйти из их состояния; так что необходимо, чтобы человек уже приобрел на работе определенное благополучие, прежде чем он почувствует с некоторой живостью эту потребность улучшить свое состояние, которое я называю жаждой благосостояния» (*О свободе труда*, том II, стр. 80).

Таким образом, нищета рабочих классов происходит в основном из-за их нехватки сердечности и духовности, или, как где-то сказал г-н Пасси, из-за слабости, инерции их духовных и интеллектуальных способностей. Эта инерция объясняется тем, что так называемые рабочие классы, все еще частично дикие, не чувствуют с достаточной живостью желания улучшить свое положение: на это указывает г-н Дюнойе. Но поскольку это отсутствие желания само по себе является результатом нищеты, из этого следует, что нищета и апатия являются другим следствием и причиной, и что пролетариат находится в замкнутом кругу.

Чтобы выбраться из этой пропасти, вам нужно либо благосостояние, то есть прогрессивное увеличение заработной платы; либо интеллект и смелость, то есть прогрессивное развитие способностей: две вещи, диаметрально противоположные деградации души и тела, что является естественным эффектом разделения труда. Таким образом, несчастье пролетариата является провиденциальным, и попытка его погасить с точки зрения политической экономии означала бы спровоцировать революционный смерч.

Потому что не без глубокой причины, основанной на высших моральных соображениях, универсальная совесть, выражаемая в свою очередь эгоизмом богатых и апатией пролетариата, отвергает вознаграждение человека, который исполняет обязанности лишь рычага и пружины. Если бы, предположим, материальное благополучие внезапно могло достаться рабочему на участке, мы увидели бы нечто чудовищное: рабочие, занятые отвратительной работой, стали бы такими же, как те римляне, наделенные богатствами мира, чей огрубленный разум был неспособен изобрести даже удовольствия. Благосостояние без образования огрубляет людей и делает их заносчивыми: это наблюдение было сделано с древних времен. *Incrassatus est, et recalcitravit*, говорит Второзаконие. Кроме того, рабочий на участке судит сам себя: он счастлив, когда есть хлеб, сон на убогом ложе и пьянство по выходным. Любое другое условие может ему повредить и поставить под угрозу общественный порядок.

В Лионе есть класс людей, которые благодаря монополии, которой пользуется муниципалитет, получают зарплату выше, чем у профессоров факультетов и руководителей офисов министерств: это портовые грузчики. Цены на погрузку и выгрузку на определенных причалах Лиона, согласно ставкам компании «Риге» или других погрузочных компаний, составляют 30 сантимов за 100 кг. При таких показателях человек нередко зарабатывает 12, 15 и до 20 франков в день: речь идет только о том, чтобы перенести сорок или пятьдесят сумок с судна в магазин. Это вопрос нескольких часов. Какое благоприятное условие для развития интеллекта, как для детей, так и для отцов, если оно самим собой и досугом, который оно предоставляет, делает богатство морализирующим стимулом! Но это не так:

грузчики Лиона сегодня такие же, какими они были всегда: пьяницы, злодеи, жестокие, заносчивые, эгоистичные и вероломные. Говорить об этом больно, но я считаю эту декларацию обязанностью, потому что в ней содержится правда: одной из первых реформ, которая будет действовать среди рабочих классов, будет сокращение заработной платы одних одновременно с повышением у других. Чтобы распоряжаться низшими классами людей, монополия не подходит, особенно когда она служит только для поддержания грубейшего индивидуализма. Бунт рабочих на производстве шелка не обнаружил у грузчиков и у других рабочих, занятых на реке [164], какой-либо симпатии (к этому бунту), но, наоборот, был встречен враждебно. Ничто из того, что происходит за пределами портов, не может их взволновать. Животные, сформированные под условия деспотизма, никогда не вмешиваются в политику — при условии, что их привилегии сохраняются. Однако я должен сказать в их защиту, что в течение некоторого времени потребности конкуренции, нарушившие тарифы, стали провоцировать появление более общительных чувств в их тяжелых сущностях: еще несколько сокращений (зарплат), которые вызовут обнищание, и лионские Риги [165] сформируют элитный корпус, когда придет время для штурма бастилий.

В итоге это невозможно, противоречиво, что в нынешней системе обществ пролетариат достигнет благосостояния через образование, а образования — через благосостояние. Ибо, не считая того, что пролетариат, человек-машина, не способен поддерживать достаток так же, как образование, было показано, с одной стороны, что его заработная плата всегда стремится к уменьшению больше, чем к повышению; с другой стороны, что культура его интеллекта, даже когда он мог ее получить, будет для него бесполезной: поскольку для него существует постоянное принуждение к варварству и нищете. Все, что в последние годы было предпринято во Франции и Англии с целью улучшения положения бедных классов, детского и женского труда и начального образования, если только это не было плодом скрытого радикализма, было сделано против экономических данных и в ущерб установленному порядку. Прогресс для массы рабочих — это всегда книга за семью печатями; и не методом искажения законодательства эта беспощадная загадка будет разрешена.

Кроме того, даже если экономисты, повторяя свои старые практики, в конечном итоге потеряли понимание оборота вещей в обществе, нельзя сказать, что социалисты лучше разрешили антиномию, которую вызывает разделение труда. Напротив, они остановились на отрицании; поскольку не правда ли, что лучше всегда все отрицать, чем оппонировать, например, единообразие разделенного труда — так называемой разновидности, в которой каждый может изменить свое занятие по десять, пятнадцать, двадцать раз в день, по желанию? Как будто меняя десять, пятнадцать, двадцать раз в день объект упражнения, можно сделать труд составным; как если бы, следовательно, двадцать долей маневров могли бы дать эквивалент целого дня для артиста. Если предположить, что этот промышленный пилотаж будет практически осуществимым, и можно будет заранее утверждать, что он исчезнет в связи с необходимостью возвращения ответственности и, следовательно, персональных функций работникам, это ничего не изменит с точки зрения физического, морального и интеллектуального состояния рабочего; в лучшем случае он мог бы путем распыления еще более обезопасить свою неспособность и, следовательно, свою зависимость. Это то, что признают организаторы, коммунисты и другие. У них так мало претензий на разрешение антиномии разделения, что они все признают в качестве существенного условия организации иерархии труда, то есть классификацию работников по

участкам, по общим и составным, и что во всех утопиях различие способностей, основание или вечный предлог для имущественного неравенства принимаются за стержень. Реформаторы, чьи планы могли быть продиктованы только логикой и которые, заявив о своем несогласии с *упрощенчеством*, однообразием, единообразием и расчленением труда, затем стали предлагать *множественность* в качестве СИНТЕЗА; таких изобретателей нужно судить и отправить обратно в школу.

Но вы, критик, — без сомнения спросит читатель, — каково ваше решение? Покажите нам этот синтез, который, сохраняя ответственность, личность, одним словом специализацию работника, должен объединить наивысшее разделение и наибольшее разнообразие в сложное и гармоничное целое.

Мой ответ готов: давайте изучим факты, давайте посоветуемся с человечеством; мы не можем получить лучшего проводника. После колебаний стоимости разделение труда является экономическим фактом, который наиболее существенно влияет на прибыль и заработную плату. Это первая веха, установленная Провидением на почве промышленности, отправная точка этой огромной триангуляции, которая должна в конце концов определить для каждого и для всех права и обязанности. Итак, давайте следовать нашим подсказкам, без которых мы могли только заблудиться и потеряться:

Tu longè sequere, et vestigia semper adora (Приблизительный перевод с латыни: Следи за приметами в течение долгого пути. — А.А. А-О.)